



# ЗАЧЕМ ПИСАТЬ?

**П**ервый вопрос: зачем писать?

Я уже пыталась, даже писала, потом все уничтожила. Глупо. Аванс пришлось вернуть.

Очень трудно говорить о себе, даже в воспоминаниях. Плохо не хочется, хорошо стыдно. Пусть уж лучше другие.

Но недавно услышала, что вполне приличное, по меркам порядочности, общество весь вечер развлекалось, вспоминая мои «перлы», наперебой рассказывая разные анекдоты из моей жизни, восторгаясь острым языком и нелюбезными выражениями. И стало вдруг страшно. Я старая, по-настоящему старая, жизнь прожита, меня не будет, что останется, чем запомнят? Мулей? «Пионэры, идите в ж...пу»?

А ведь были десятки сыгранных и несыгранных ролей, дружба, работа и просто встречи с такими замечательными, гениальными людьми, были, наконец, тысячи умных мыслей и достойных желаний...

Я такая старая, что пережила не только тех, с кого должна бы брать пример, но и тех, кому должна его подавать. Хотя брать хороший пример можно и нужно в любом возрасте и с людей любого возраста.

Очень не хочется остаться в памяти только злым языком, анекдотами и бытовым кретинизмом. Что есть, того



не отменишь, но, кроме острого языка, есть еще не такие уж злые мысли, как с ними быть?

Задумалась и поняла, что если уж писать воспоминания, то не о том, как жила и с кем из великих и просто интересных людей встречалась, а что думала, чувствовала, что мне эти встречи дали. Почему моя судьба сложилась счастливо и столь несчастно одновременно, почему столько несыгранных ролей, почему всю жизнь одиночество?

Мне грешно жаловаться на недостаток признания и славы, но не то, все не то... Могла одно — сделала другое, ценила одни роли — награждали и любили за другие, по улице из-за узнавания и популярности шагу не ступить, а дома и слова за целый день можно не услышать... Только собачьи глаза моего Мальчика...

Почему?

У меня есть слова о том, что хватило ума глупо прожить свою жизнь. Глупо ли? А как надо умно?

Судьба дала мне главное, о чем я так просила, — сцену и талант играть на ней. В качестве оплаты забрала все остальное, оставив одинокой, никому не нужной старухой уже много-много лет назад.

Я больше не успела, чем успела, не сделала, чем сделала, а вот понять успела в жизни многое. Чужой опыт никогда никого не учил, не только дураки учатся на своих ошибках, умники тоже, но если мой опыт ничему не научит, то хотя бы наведет на умные мысли? Ошибки и глупые поступки тоже способны дать пищу к размышлению.

А если таковую дадут еще и мои мысли, то, пожалуй, хоть кто-то, пробежавший глазами мои записи, вспомнит, что у Раневской были не только «Муля» и «ж...па».

Если скажешь правильно, вовсе не значит, что тебя правильно поймут. Что лучше — не высказываться совсем или на каждом шагу объяснять, что именно ты хотел сказать?



# ДЕТСТВО. В СЕМЬЕ БЕЗ СЕМЬИ

Татьяне Тэсс благодарные читатели чего только не прислали! Помимо подарков, часто нелепых, и писем мешками, были перлы собственного сочинения. Грешно смеяться, но один запомнился:

Я родился в Москве.  
Родила меня мать...

Невольно родилось продолжение:

...Тетке некогда было в ту пору рожать...

Так вот, меня тоже родила мать, о занятости своих теток ничего сказать не могу, не знаю.

Но родила не в Москве, а в Таганроге. Замечательный город, к тому же быть землячкой Чехова почетно. Моей заслуги в том нет и вины тоже, родители постарались.

В попытке написать биографию я дальше фразы: «Мой отец был небогатым нефтепромышленником...» — далеко не ушла. Это правда, у Гирши Хаимовича Фельдмана имелись некие активы в недвижимости и нефтедобыче, фабрика сухих красок, небольшой пароход «Святой Николай», большой дом и даже собственный дворник, что



восхищало меня куда больше парохода. Пароход что... вот дворник — это да!

Кстати, «Святой Николай» даже имел некоторое отношение к большой, даже великой литературе — на нем путешествовал по Черному морю Лев Николаевич Толстой. На меня это не производило ни малейшего впечатления, куда колоритней какого-то Толстого казался дворник с его медалью за мужество.

Мечтала иметь такую же, совершив какой-нибудь героический поступок! Поступки не подворачивались, никто на моих глазах не тонул, не выпрыгивал из горящих домов, лошади не несли, опрокидывая повозки, в Таганроге не случилось ничего, за что пятилетняя девочка могла бы обрести заслуженную награду. А как хотелось...

Дворник был неистощимым кладезем запретных выражений и предметом для подражания, что не могло нравиться моим родителям.

Моя «жизнь в искусстве» началась года в четыре (раньше просто не помню). Дворник так колоритно ругался!.. А еще мне очень нравилось, как кричали продавец мороженого и нищенка, просившая милостыню. Я пыталась подражать: «цыкала» сквозь зубы, материлась, зазывала: «Сахарна морожена!..» — и просила копеечку «Христа ради».

Сначала родители смеялись, потому что шамкающая старуха в изображении четырехлетнего ребенка явно была уморительной, потом смех поутих. И все же первые годы мне не мешали, но только первые. Среди игрушек, что часто бывало в те времена, оказался набор для спектакля «Петрушка». Небольшая ширма, простые куклы стали моей отрадой и моим домашним триумфом. Разыгрывать спектакль, а потом выходить из-за ширмы и степенно кланяться...

Очень трудно не стать такой, какой тебя хотят видеть, а если это видение еще и не совпадает с твоим внутренним миром, борьба становится смертельной.





Семья обеспеченная и, как полагалось старосте синагоги, весьма строгая. Отец казался деспотом, за любую провинность следовало наказание, иногда даже порка. За леность или нежелание подчиняться правилам особенно. Может, отсюда у меня это самое нежелание подчиняться правилам?

Отца боялась, а потому не любила. Мать, очень впечатлительную, даже несколько экзальтированную, обожала, к сожалению, безответно.

Нас в семье четверо детей — Белла, Яков, я и Лазарь. Мне было лет пять, когда Лазарь умер, это страшное горе я помню, хотя тогда едва ли сознавала, что произошло в действительности.

Белла, хорошенькая и общительная, была умницей и папиной надеждой. Яков — наследником и тоже надеждой. Я была никем. Некрасивая, заикающаяся, вечно погруженная в фантазии или кого-то передразнивающая, но главное — неспособная к обучению.

О... этот штамп на мне поставили в первый же год в гимназии. Я фантазировала, фантазии принимали за вранье, не была способна подолгу слушать нудные речи учительниц — считалось, что это лень. Дети смеялись над заиканием, в ответ я замыкалась — говорили, что бездарь, неспособная что-то запомнить.

Только и умела кривляться, все остальное недоступно. Некрасивая дурочка-кривляка, кто же будет любить такую дочь?

Меня не любили. У меня была семья, но ее не было. В жизни великих бывало, когда материнскую и отцовскую ласку и внимание заменяло внимание няnek или гувернанток, иногда это даже приводило к изумительным результатам. Не Надежда Осиповна, а Арина Родионовна рассказывала Пушкину сказки. У меня не было Арины Родионовны, бонн своих просто ненавидела, причем взаимно. Мечтала,



чтобы, катаясь на коньках, бонна-немка упала и расшиблась насмерть. Но она каждый раз возвращалась даже без синяков.

Когда озвучивала фрекен Бокк через много десятилетий, вспоминала не столько саму немку, сколько свою ненависть к ней.

Когда ребенку не к кому прислониться, даже в семье нет плеча, в которое можно уткнуться, он вырастает либо преступником, либо исключительно замкнутой и одинокой личностью.

Замкнутой я быть не могла, актерство не предусматривает ни стеснительности, ни робости, а оно родилось вместе со мной. Оставалось одиночество.

Одиночество взрослого, прожившего жизнь, страшно, но объяснимо, оно может вытекать из этой самой жизни, быть следствием его собственных ошибок и эгоизма.

Одиночество ребенка в тысячу раз страшней одиночества взрослого человека. Дети не должны быть одиноки, иначе они никогда не будут счастливы в жизни.

Я не обвиняю родителей ни в чем, жили, как могли и считали правильным, но именно детское одиночество в семье предопределило отсутствие семьи у меня потом. Вокруг меня много людей, но после смерти Павлы Леонтьевны Вульф, которая заменила мне мать во взрослой уже жизни, я осталась одна, совсем одна, а сейчас, когда пережила уже почти всех, кому интересна моя жизнь, моя внутренняя жизнь (рядом только Нина Сухоцкая), особенно одиноко. Одна в толпе — это еще тяжелей, чем смотрителем на маяке на далеком острове.

Я чувствовала, даже понимала, что меня не любят, удивительно, но воспринимала это как данность, не пыталась стать такой, какой требовалось, заискивать или добиваться любви. Просто знала, что не любят. Что лучше: быть странной, потому что не как все, или одинаковой со всеми?





Имя Фаина (по-еврейски Фейга, значит, «птица») мне дал отец. Надеялся, что я полечу. Полетела, да только не туда, куда он желал. Отец считал мою страсть к актерству и выступлениям блажью, если не дурью, и очень расстраивался из-за откровенных неудач в гимназии.

Это очень и очень трудно — ежедневно видеть, что ты не соответствуешь ожиданиям, особенно когда старшая сестра им соответствует в полной мере. Белла умница и красавица, Фаина — некрасивая бездарь (желание кривляться способностями не считалось, скорее наоборот — почти позором).

— Пожалейте человека, заберите из гимназии!

Гимназия была не просто повинностью, а самым ненавистным местом на земле. Училась плохо, потому что вычислять выгоду купцов, которые покупали товар по одной цене, а продавали по другой, казалось почти преступлением. Выгода меня не интересовала никогда, а в детстве особенно.

Читать, читать и читать! Запоем, все, что подворачивалось под руку, рыдать, если героев обижали, а потом получать выволочки или вообще розги за эти слезы. Я рано осознала, что впечатлительность наказуема, как и внешние проявления душевных переживаний. Замкнуться в себе? Но я предпочитала лучше терпеть порку или долгое стояние в углу, но снова и снова рыдать над судьбами героев.

К сожалению, книги дочитывались не всегда вовсе не по моей вине, просто частью наказания «за дурь» было лишение той самой книги, что вызвала слезы. Позже я все это перечитала и снова поплакала.

Сейчас подумалось, что это даже помогло мне полюбить хорошую литературу. Человеку всегда хочется того, что нельзя, и ценит он больше запретное, особенно в детстве.

Удивительно, что моя впечатлительность и способность рыдать от одного слова не добавляли материнской любви, а ведь Милка Рафаиловна особа весьма экзальтиро-





ванная, способная безутешно рыдать от известия о смерти Чехова. Сама такая, а во мне этого не терпела, вернее, старалась не замечать меня.

Для отца я была просто бездарной лентяйкой.

Из гимназии меня после моих рыданий забрали, зато пригласили домашних гувернанток для обучения. Что изменилось? Только дети перестали дразнить из-за заикания, поступки алчных купцов понятней не стали, арифметика категорически не давалась, как и география. Представить себе, как далеко находится Париж или Швейцария, куда мы каждый год отправлялись летом, как выглядит на карте «итальянский сапожок», где так красиво, я была не в состоянии.

Почему нужно запоминать, как это выглядит на карте, я лучше покажу, как работает веслом гондольер или корчит рожуцы мальчишка в Париже.

Заикание тоже никуда не делось, оно осталось со мной до конца жизни, хотя я научилась делать этот дефект незаметным.

Заикание бывает разным, иной человек не может «взять» первую согласную, особенно твердую. Тогда общение превращается в сущее мучение и для того, кто говорит, и для того, кто слушает. «П-п-п...» — и гадай, что хочет сказать, то ли «привет», то ли «пошел!».

У меня иное, я всегда «тормозила» на гласных, скажу не «п-п-п...», а «па-а-жалуйста». Это легче переносить и скрыть тоже. Заикание похоже на вздох или зевок не к месту, хотя тоже мешает.

У сестры были гимназические приятели, один из которых, на мой тогдашний взгляд, гениально читал стихи. Гениально для меня тогда означало, что от избытка чувств он завывал, размахивал руками и даже с криком рвал на себе волосы. Вот это искусство! Вот это страсти! Шекспиру не сни-





лось такое исполнение, хотя юнец читал вовсе не «Отелло» или «Гамлета», а «Белое покрывало» Морица Гартмана.

Произведение хорошее, но к чему в нем было рвать волосы, топтать ногами или биться головой о подлокотник кресла... уж и не знаю. Но это впечатляло, тем более такую экзальтированную дурочку, как я.

Оставалось только вздыхать, потому что за собственные завывания и крики я получала вместо аплодисментов выволочки.

Провинциальные города России начала двадцатого века — это особый культурный мир, он еще весь насквозь пропитан веком девятнадцатым. Многие города России имели великолепные театральные труппы, достойные лучших подмостков мира. У тихого, как его называл Чехов, пустого Таганрога был свой театр, на спектаклях которого я проливали слезы.

А еще была любовь к музыке. В каждом приличном доме пианино, пусть расстроенное, на котором дети брэнчали обязательный бравурный репертуар, но были и весьма серьезно музицирующие.

По выходным вчерашние серьезные деловые люди могли собраться, чтобы поиграть дуэтом или квинтетом. Помню великолепный концерт Скрябина, именно он окунул мою душу в музыку. Настоящую музыку, где не нужно завывать или заламывать руки, чтобы выразить свои чувства.

А вот опера меня пугала. Ну как можно вонзать кому-то в грудь кинжал и петь при этом?! Это неправильно, это фальшиво...

Я не раз говорила, что мое детство закончилось в тот день, когда я увидела маму, рыдающую над сообщением о смерти Чехова, и под впечатлением этих слез прочитала наугад его «Скучную историю». Было мне лет девять.



Откровенное горе мамы меня потрясло, я поняла, что в жизни можно убиваться не только из-за смерти близкого человека, вернее, что совершенно незнакомый человек может быть духовно близким и дорогим настолько, что его смерть становится горем.

Детство закончилось, а было ли это детство?

Но если детство хоть какое-то — куцее, одинокое, но было, то юности не оказалось вовсе.

В двенадцать увидела «Ромео и Джульетту» в цвете! Потом поняла, что то ли пленка была вручную раскрашена, то ли в аппарат вставлен фильтр. Какая разница?! Красивый молодой человек объяснялся в любви красивой девушке, стоя под балконом. И все это без визга и вырванных волос. Оказалось, что чувства можно выражать красиво и не только за роялем, а вслух, произнося поэтические строки. И как выразить!..

Результатом потрясения была разбитая копилка и розданные соседским детям долгие накопления:

— Мне ничего не жалко, пусть берут все!

Какая между этим связь, я не знала сама. Наверное, душа так протестовала против наживы купцов в задачках по арифметике. Ненавистная арифметика была позорно попорана и поставлена на место, потому что оказалось, что святое искусство выше и дороже любой наживы!

Арифметика, конечно, выжила, ей наплевать на неумение Фаины Фельдман пользоваться четырьмя правилами. И купцы тоже без моих подсчетов прибыли обошлись. Но для меня отныне стало ясно: свято только искусство, а умение играть на сцене — самое лучшее из искусств.

Кем я после этого могла стать? Только актрисой!

Этого не понял дома никто.

Не знаю, почему мне все же дали деньги на поездку в Москву, скорее, чтобы спровадить подальше непутевую





дочь. Терпеть этот позор в Таганроге у Гирши Хаимовича не было больше сил.

Мне восемнадцать, гимназия так и не окончена, профессии никакой, только страстное желание стать актрисой. Лучшей, выдающейся. Хорошо бы великой.

Рыжеволосая дылда, загибающая ногами, сутулая, заикающаяся и падающая в обморок невесть с чего, должна была стать подарком для лучших театров Москвы.

Подарка не получилось. Мое заикание, способность падать в обмороки, излишняя экзальтированность, отсутствие внешних данных и образования при том, что в Москве и своих безработных актеров пруд пруди, закрыли мне двери всех театров. В лучшем случае на таганрогскую нахалку смотрели, как на предмет мебели, в худшем откровенно заявляли о моей профессиональной непригодности, даже не выслушав и коротенького монолога.

Сейчас я думаю, что если бы выслушали, было бы еще хуже, потому что при всем понимании, что такое хорошая литература и хорошая игра, я читала бы с интонациями знакомого гимназиста, то есть подвывала и рвала на себе волосы.

Волосы остались целы, всем хватало и внешнего вида.

Москва — город дорогой, деньги быстро таяли, а заработков в театре не было никаких. Кроме того, я старалась пересмотреть все спектакли, особенно с участием Качалова, которого просто обожала так же экзальтированно, как делала все остальное.

Тогдашний приезд в Москву, казалось, счастья не принес. Но и возвращаться домой было не на что. Узнав о моих проблемах, отец велел матери выслать деньги на обратную дорогу. Тогда произошел красивый случай, который так любят пересказывать обо мне. Для всех нормальных людей это было бы признаком неспособности к нормальной жизни.



Получив деньги, я почему-то не спрятала их в сумочку, а так и вышла из здания, держа в руках. Сильный порыв ветра, я невольно хватаюсь за шляпку, которая грозит улечь, и выпускаю купюры из рук. Они летят, летят...

Домой я все же вернулась, жить в Москве было не на что. Но не сдалась и, к ужасу отца, принялась готовиться к новой атаке на театральную Москву. Вернее, о Москве речь не шла, зато в Таганроге я уже стала заметна. Чтобы успокоить отца, сдала экзамены за гимназию. Честное слово, это оказалось не так трудно. И отправилась снова учиться — в частную театральную школу Ягелло.

Отец терпел, видно надеясь, что я перебешусь и останусь просто театральной любительницей. Понятно, что замужество поставит крест на всех этих бреднях, а пока Гирши Хаимович был согласен терпеть дурацкие увлечения младшей дочери, но только до тех пор, пока они не выставляли его на всеобщее посмешище. Он был согласен содержать меня до замужества, однако кандидата в мужа намеревался определить сам.

К этому времени у меня состоялось одно из определяющих жизненный путь знакомств. В Евпатории я встретила Алису Коонен — одну из самых выдающихся актрис Москвы, супругу и соратницу Таирова. Красавица и умница, безумно талантливая Алиса отнеслась ко мне хорошо. Ниночка Сухоцкая, единственная, кто сейчас остался со мной рядом, — ее племянница, тогда бывшая совсем маленькой девочкой.

Театр и только театр!

Отец даже не ужаснулся, он окончательно разозлился. Этот разговор между нами был последним, он кричал, чтобы я посмотрела на себя в зеркало, актриса должна быть по крайней мере красивой! Чтобы его дочь кривлялась на сцене за деньги?! Никогда!





Смысл гневной речи сводился к тому, что либо я его дочь и спектакли возможны только любительские в дружеском кругу, либо...

Я выбрала второе.

В Москву уезжала в слезах, с небольшой суммой денег и обещанием матери в случае крайней нужды помочь.

Больше отца не видела, младшая дочь Фельдмана удалась упорством в него, мы перестали друг для друга существовать!

С матерью и семьей брата встретилась в Румынии через четыре десятка лет, в 1956-м. Сестра Изабелла, после смерти мужа одиноко жившая в Париже, приехать не смогла.

Когда в воздухе серьезно запахло революцией, отец понял, что это ничего хорошего ему не обещает, ликвидировал все, что смог, и воспользовался наличием собственного парохода. В революционной России осталась только непутевая младшая дочь Фаина, сделавшая свой выбор раз и навсегда.

Я осталась в России одна. Собственно, в семье я всегда одна и была...

К чему я так подробно? Хочется обратить внимание родителей: не мешайте детям выбирать. Ваш выбор может сломать им жизнь. Не у всякого достанет упорства пойти наперекор всему, чтобы заниматься тем, что ему по душе. Помогите своему ребенку, пусть попробует то, что ему хочется, даже если он мечтает стать ассенизатором. Вдруг он действительно станет лучшим ассенизатором в округе? Или даже в мире. Тогда он будет играть на скрипке не по принуждению, а по собственной воле и к вашему удовольствию, на радость, а не на муку соседей. Дворник, играющий Паганини в свободное время, куда лучше скрипача, берущего в руки смычок с отвращением просто потому, что его заставляют это делать.



Сестра Белла, позже переехавшая жить ко мне в Москву, однажды спросила, сделал ли меня счастливей мой выбор, если у меня нет семьи, я все равно одинока.

Да, сделал. Одинокой в семье Фельдманов я была бы все равно, а следовательно, и в той, которую для меня выбрали бы, тоже. Но я занимаюсь любимым делом, пусть не всегда удачно, пусть большая часть сил и таланта остались неизрасходованными, пусть не сыграла и сотой доли ролей, которые могла бы сыграть, но я старалась. Это моя жизнь, другой не представляю и не желаю.

Только в конце длинной жизни наконец понимаешь, как она, в сущности, коротка.

Часто слышу о том, что у меня отвратительный характер. Наверное. Беда в том, что характер — не шуба, его не сдашь в скупку, чтобы приобрести новый. К тому же вдруг опять подsunут какую-нибудь гадость?

Говорят, характер можно воспитать самой. Ну, хорошо, воспитаю я его, выращу на всяческих общечеловеческих идеалах, а старый-то куда девать? Выбросить жалко, все же свой... А если два характера внутри меня не уживутся и сцепятся меж собой? Ужас!

Когда кто-то намекает на мой тяжелый нрав, я только пожимаю плечами:

— Терпите. Я же его терплю, при том что вы с ним сталкиваетесь изредка, а я круглые сутки.

На днях в ответ на очередной вздох о моем характере объявила, что мне нужно дать «Мать-героиню».

— За что?!

— Я этот характер терплю много десятков лет! Не всякая мать вытерпит столько своего самого несносного ребенка.

Но вообще, мне редко рискуют говорить о тяжести нрава, именно его и боясь.



*Фаина Раневская. Жизнь, рассказанная ею самой*



Есть один способ добиться, чтобы о тебе хоть один день говорили хорошо, – умереть. На поминках плохо не говорят ни о ком. Нет, лучше пусть ругают... Я потерплю.

Мне нельзя умирать. Я так привыкла жить, что совершенно не представляю, что буду делать после смерти.





# ТЕАТРАЛЬ- НЫЕ УНИВЕР- СИТЕТЫ

Зря я надеялась, что Москва за время моего двухлетнего отсутствия опомнится и примется искать, куда это девалась заикающаяся рыжая дылда.

Как не заметила Москва моего появления и отъезда, так не заметила и возвращения.

Я такая старая, что с высоты прожитых лет даже имею какое-то право давать советы. Понимаю, что ничей совет никому еще не помог: если совет не созвучен собственным мыслям человека, то его не воспримут, а если созвучен, то поступят согласно этим мыслям, увидев в совете поддержку.

Потому советую тем, кому такая поддержка нужна.

Если вы чувствуете, что дело, которым желаете заняться, действительно ваше, не обращайтесь внимания ни на что другое. Конечно, я не о преступлениях или каких-то пакостях, но о толковых делах.

Не слушайте даже профессионалов, то есть прислушайтесь, пытаясь понять, почему они против, но решайте сами. Самый хороший профессионал может не заметить что-то глубинное.

У меня хватило настырности идти своим путем любой ценой. Цена оказалась высокой, но это смотря что с чем сравнивать. Если считать одиночество платой за счастье





творить на сцене, то цена сопоставима, если оно плата за популярность, это слишком дорого.

Но тогда я была в самом начале пути и не боялась ничего.

Москве, вернее, московским антрепренерам я оказалась по-прежнему не нужна, работы не было, кроме разве выходов в массовке в цирке. Гроши, к тому же нерегулярные.

Актерскую школу оплачивать нечем, жилье, даже самое скромное, тоже, жить негде и не на что.

Я уже продала все, что только можно, но никакая самая жесткая экономия и даже голодовка не помогли, деньги все равно закончились. Совсем. И занять в Москве не у кого. Да и как брать в долг, если отдавать нечем?

Оставалось одно — пропадать. Меня ждала самая настоящая улица.

Пропадать я отправилась к Большому театру. Почему туда? Не знаю, ноги сами привели. Села на скамейке и рыдалась. Это могло плохо закончиться, но закончилось очень хорошо.

Ко мне подошла сама Екатерина Васильевна Гельцер — прима-балерина Большого! То ли я рыдала вдохновенно, то ли сама Гельцер почувствовала мое одиночество, потому что была такой же, но ночевала я уже не на улице, а у нее в квартире. И жила следующие месяцы там же.

У меня оказалось два таких ангела — Гельцер и Павла Леонтьевна Вульф.

Дорогие мои, если вы исчерпали все возможности, но не сдались, в самый последний момент обязательно придет помощь. Иногда это похоже на сказку, как наша встреча с Екатериной Васильевной Гельцер. Прима Большого вдруг взяла под крыло никчемную нищую девушку, с которой и знакома-то не была.



Из оказанной ею помощи крыша над головой и возможность хотя бы некоторое время не думать о пустом желудке была самой малостью. Гельцер познакомила меня с театральной, богемной Москвой. А еще она была мне идеально созвучна.

Екатерина Васильевна дама исключительно импульсивная, и если требовалось «отомстить» за преданную мужем сестру Любу, то Гельцер, не задумываясь, делала это — прилюдно вlepила пощечину самому Москвину, директору МХАТа, между прочим. Правильно, бить так бить!

Говорила все, что думала, мало заботясь о последствиях лично для себя. Называла московский театральный бoмонд бандой, а еще была страшно одинока. Найдя во мне родственную душу, Екатерина Васильевна с удовольствием эту душу отогрела, познакомив со всей тогдашней богемной Москвой.

Я пересмотрела, кажется, все спектакли тех лет во всех театрах, причем в каждом повторялось одно и то же: сунув голову в окошко к администратору, вдохновенно врала, что я провинциальная актриса, ни разу не бывавшая в таком хорошем театре, как этот, но денег на билет не имею. Лесть вместе с несчастным видом делали свое дело, я получала контрамарку, но вторая попытка поступить так же не удавалась, мое лицо оказалось запоминающимся.

Нельзя сказать, что я этим была слишком огорчена. Конечно, деньги сэкономить не удалось, зато появилась почти гордость: ага, мое лицо тоже запоминается! Администратор не отшатнулся, значит, это не рожа, оно не столь страшное.

Гельцер познакомила меня с Маяковским, с Мариной Цветаевой, много с кем. Она же нашла мне и первую московскую работу в театре. Вернее сказать, «подмосковную» — в Малаховке. Массовка, без слов, но это была московская сцена!





Добрые волшебницы не перевелись. Мы с Екатериной Васильевной Гельцер остались друзьями до конца ее дней. Как же она близка мне по духу! Ну кто еще мог позвонить посреди ночи, чтобы немедленно узнать, сколько лет было Евгению Онегину или что такое формализм?

Театр в Малаховке был летним, деревянным и работал только в сезон. Но Малаховка в те годы оказалась настоящей Меккой для московской богемы, а на сцене самого театра играли даже Садовникова, Коонен, Тарханов, Остужев, пели Шаляпин и Собинов, Вертинский, Нежданова...

Гельцер представила меня труппе как закадычную подругу из провинции! Закадычная подруга примы из Большого...

По-моему, это был один из последних театров, еще не вставших на рельсы коммерции. Платили очень мало, но какими деньгами можно окупить возможность быть на сцене рядом с великими, видеть их игру, видеть, как рождается образ на репетициях, даже просто пользоваться их советами.

Первый урок именно жизни в образе героя мне преподнес Илларион Николаевич Певцов. Не зря вспоминаю, молодые, учитесь!

В пьесе Леонида Андреева «Тот, кто получает пощечины» рядом с Певцовым у меня роль без слов, просто живая мебель. На вопрос, что же играть, Певцов спокойно ответил:

— Ничего, просто любите меня. Все, что будет происходить со мной, должно вас волновать, получать отклик в вашей душе и отражаться на лице.

Я любила, о, как я его любила! Вот тогда выявилась моя особенность: я не умею, не могу ни «включаться» в спектакль, ни «выключаться» из него. Спектакль, роль — это



жизнь, пусть и на ограниченном участке сцены, разве можно начать жить или перестать просто так?

Я не умею и не понимаю тех, кто умеет.

Не завидую таким, хотя должна бы, наверно. Сейчас почему-то считается самым большим достижением способность потушить сигарету или прекратить обсуждение купленного вчера платья, вздохнуть и шагнуть на сцену в «Вишневом саде».

«Я изображу вам кого угодно, таково мое актерское мастерство!» — почему это хвастливое заявление считается нормальным? Почему способность «надеть» на себя роль, как пальто, и так же снять ее приравнивается к актерскому мастерству?

Не могу видеть актеров, травящих анекдоты или обсуждающих домашние дела во время антракта.

Актер не фокусник, чтобы доставать из кармана слезы, когда они нужны, и легко возвращать обратно. Чтобы слезы появились, они должны идти из глубины души, как и улыбка, смех, любое чувство. Если этого нет, то остается игра, фальшивая, не трогающая душу.

К моему (и не только моему) великому сожалению, игры на сцене даже ведущих, прославленных театров становится все больше, а жизни все меньше. Не хотят тратить душевные силы, не хотят любить своего персонажа и до спектакля, и после него. Жалеют душу, а ведь зря, душа имеет свойство увеличиваться до вселенских размеров или уменьшаться, как шагреновая кожа, причем чем больше тратишь, отдаешь, тем больше остается, и наоборот.

Все об этом знают, но душа такая субстанция, которую можно скрыть за актерским мастерством, особенно во время сдачи спектакля худсовету. Члены худсоветов тоже не слишком любят тратить свои души или даже демонстрировать их, вполне достаточно демонстрации актерского мастерства. Вот и подменяется умение проживать





роль умением показать актерское мастерство в какой-то роли.

А потом это входит в привычку и становится нормой. Показать актерское мастерство ныне важнее, чем прожить роль на сцене.

Грустно и страшно за судьбу театра...

Певцов учил нас не подчиняться диктату вещей, не обзаводиться ими. Вот учитель! Я по сей день следую его наставлениям.

Он прав, вещи, кроме дорогих для памяти мелочей, — это груз из тех, в которых физический вес превращается в моральный. Я это хорошо знаю по Котельническому переулку, где были соседи, прожившие многие годы на зачехленных диванах и евские на кухне из-за того, что роскошные столы накрыты скатертями до пола. Душа в чехлах...

Написала и подумала: а была душа-то? Может, один чехол и остался? Душа, она в чехле сжимается, скукоживается до фасолины, а если нараспашку, то охватывает весь мир.

Душа — приют Бога в теле человека. А душонка? Не может же Создатель ютиться в мелочной душонке. А если Бога нет, остаются только глисты... Не променяйте.

Одно плохо — вскоре из-за войны всем стало не до театров, даже таких, как наш Летний. Жизнь превратилась в выживание. Актрисе, да еще начинающей и без особых внешних данных, в Москве не выжить. Сидеть на шее у Гельцер невозможно, я согласилась на участие в антрепризе Лавровской в Керчи.

Потому об этом вспоминаю, что тогда впервые поклялась на сцену ни ногой.

Вы часто в чем-нибудь себе клянетесь? Не клянитесь, не ровен час придется выполнять клятву.



О, это была роль из тех, что я терпеть не могла не только для себя, но и вообще. Героиня из придурочных кокеток, стоя под небесами, то есть на самом вершухе декорации, изображавшей горы, клялась ухажеру в вечной любви. Почему ее нужно было помещать в орлиное гнездо где-то на вершине Казбека, уже не помню, но хорошо помню, как после самых прочувствованных строк, произнесенных невыразимо противным томным голосом, я почему-то обрушила на возлюбленного декорацию горы.

Зал дрогнул от хохота, несчастный любовник ругался из-под декораций, обещая оторвать мне голову, а я стояла наверху, не в силах от страха двинуться с места. Спускаться с горы за декорациями — это одно, а видя перед собой наспех сколоченное, уже частично обвалившееся сооружение — совсем другое.

Дома я дала себе слово уйти со сцены.

Не сдержала.

Потом давала слово не приближаться к кино.

И тоже не сдержала.

Нас обманули, не заплатив ни гроша, это не редкость в те бурные времена. Оставшись в Керчи без денег и возможности вернуться в Москву, я, конечно, могла бы добраться до Таганрога, чтобы сдать на милость родителей, но это даже не пришло в голову. В ход пошли личные вещи, которые покупали не слишком охотно и дорого, куда ценней были продукты.

Колесила по югу, подрабатывая чем угодно. В Ростове-на-Дону в 1918 году, работая в цирковой массовке, увидела на сцене театра «Дворянское гнездо» с Павлой Леонтьевой Вульф в роли Лизы Калитиной. Вообще-то я уже видела этот спектакль и именно с Вульф еще в Таганроге, была потрясена ее Лизой, но тогда еще мало что понимала. Теперь впечатление было гораздо более сильным и глубоким.





Это решило все. Какой цирк, когда в мире есть такие люди?!

Набралась необъяснимого нахальства и отправилась к Павле Леонтьевне со «скромной» просьбой — научить меня играть. Вот так просто.

Не представляю себя на ее месте. В стране хаос и разруха, театры выживали непонятно чем, и каждый лишний рот, каждый кусок хлеба был на счету. В это не просто беспокойное, а кошмарное время люди не жили, а выживали. Так всегда в беспокойные времена становится не до театра.

Но Павла Леонтьевна не смогла отказать, она согласилась посмотреть меня и предложила даже самой выбрать роль из спектакля, который давала их труппа, — «Роман» по пьесе Шелтона. Я выбрала роль итальянской певицы, в которую некогда был влюблен дед главного героя, — Маргариты Кавалини.

Я бывала в Европе, но в детстве, когда еще мало что понимаешь, а если и запоминаешь, то точно сказать, где происходило, невозможно. Требовалось начинать все сначала. Чтобы стать хоть чуть похожей на итальянку, я разыскала в городе итальянца, правда, из тех, что давным-давно забыл, что такое его родная страна, уговорила дать несколько уроков итальянского языка, показать характерные жесты, интонации, а также научить нескольким расхожим выражениям.

Итальянец обрадовался неожиданному приработку и без малейших сомнений содрал с меня все деньги, которые еще оставались. Было бы больше, взял больше.

Но я не пожалела, поголодав несколько дней, пока готовила роль, я только добавила себе «интересу» во внешность. Сколько потом еще приходилось голодать! Нет, мы не доходили до опухших ног или отечного лица, но желудок сводило не раз.





Попытка удалась, Павле Леонтьевне понравились мои старания, или она просто сделала вид, что это так, но Вульф приняла меня не просто в труппу, а в свою семью, стала настоящей матерью. Где мои родители, я к тому времени не представляла. Но теперь было не страшно, теперь у меня появилась семья.

У Павлы Леонтьевны я отогрелась душой, рядом с ней не была ни одинокой, ни потерянной. Рядом с ней поверила в свое предназначение уже не из упрямства, а по-настоящему.

Вульф называли «Комиссаржевской провинции». У Павлы Леонтьевны интересная и очень богатая судьба, о ней стоит рассказать отдельно, и я обязательно это сделаю. Без Вульф я не стала бы никем вообще, она, как раньше Гельцер, спасла меня от улицы, причем на сей раз улицы охваченного революцией Ростова-на-Дону, что серьезней сытой предвоенной Москвы.

Но самое главное — она учила играть. Рядом с Павлой Леонтьевной я училась большому искусству, а не просто вразумительному передвижению по сцене, училась подчиняться роли, слушать роль, понимать ее душой.

Конечно, все это было очень трудно осуществить в послереволюционном театре, когда ради привлечения зрителей приходилось играть по две премьеры в неделю. О каком проникновении в роль можно было говорить, если и текст не успевали выучить, играя по суфлерским подсказкам.

Доходило до смешного, когда актер улавливал ухом свои слова, а суфлеру приходилось едва ли не подсказывать, кто кого должен душить — Отелло Дездемону или наоборот. Но я радовалась возможности играть, учиться, осваивать новые и новые роли. Это действительно была игра, я не люблю это слово, но вынуждена им пользоваться.





Я играла Шарлотту в «Вишневом саде». Никто, мне кажется, даже Павла Леонтьевна, не понял, что такого я нашла в этой роли. Гувернантка она никудышная, такую бы гнать и гнать, Шарлотта не нужна, а потому страшно одинока. Никому не нужная, никого не способная чему-то научить, нескладная дылда... Это было так обо мне, что и играть-то нечего.

Семья уехала из Таганрога, когда отец понял, что за первым арестом и огромным выкупом последуют еще и ему от новой власти подарков ждать не стоит, разве что полного разорения и расстрела.

Я даже не знаю, искали ли они меня, скорее всего, нет, потому что найти человека в бурлящем восемнадцатом на просторах юга России было невозможно. Власть в городах и селах менялась едва ли не дважды в день. В Таганроге нет, это и спасло Фельдманов от истребления. Они уплыли на пароходе в Румынию, в Констанцу.

Через сорок лет я сумела встретиться с мамой и Яковом с его семьей, Белла приехать из Парижа не смогла, а отца уже не было на свете. Что было бы, отправься я с ними?

А ничего. Поневоле вышла бы замуж, родила детей и знать не знала о театре. И погибла бы без него.

Вот такой невеселый выбор — либо семья без театра, либо театр без семьи.

Я не выбирала, выбор — это вообще бесполезно, что бы человек ни выбрал, потом будет казаться, что тот, другой вариант был бы лучше. Мне так не казалось никогда, я действительно не выбирала. К сожалению, моя семья так и не поняла, что я родилась с профессией, она была внутри и не позволила бы мне жить никакой другой жизнью. Это выше, сильнее, умней меня. И слава богу!



Провинциальная барынька Фаина Фельдман (или как-то еще)... бр-р... Нет уж, лучше неприкаянная, бестолковая актриса Фаина Раневская. Одинокая даже в толпе, но такая счастливая на сцене!

А семья у меня все же была. Нет, не подпольная, а настоящая — Павла Леонтьевна пустила меня не только рядом с собой на сцену, она пустила меня в семью. У Вульф была прекрасная дочка Ирина (какой ужас, что я пережила даже ее!). Это очень трудно — быть матерью при неприкаянности судьбы актерской провинциальной актрисы, у которой что ни сезон, то новый город и новая труппа. Умудриться при этом создавать хотя бы видимость нормального быта, не втянуться в разгульную жизнь застолий после спектаклей, не тратить силы на зависть, склоки, сплетни, остаться на высоте своего образования, своего таланта — это дорогого стоит. Павла Леонтьевна сумела.

Вульф для меня образец не просто актрисы, но человека, женщины. У нее не сложилась жизнь с первым мужем — Анисимовым, с которым и развод оформлен не был, потому Ирина, рожденная уже от Каратаева, была записана на фамилию Анисимова и отчество получила его же — Сергеевна, а не Константиновна.

Каратаев остался в Петербурге или в Москве, точно не помню, но не столь важно, а Павла Леонтьевна с Ириной поехала колесить по провинции. Сам Константин Каратаев много проиграл, и его отцу, поздно женившемуся второй раз, пришлось на старости лет распродать все, чтобы погасить долги сына. Он долго не выдержал этой неприкаянности, умер, завещав сыну не бросать вдову с детьми. Отцу Ирины пришлось помогать молодой мачехе воспитывать пятерых детей.

Еще одним полноправным членом семьи у Павлы Леонтьевны была Тата — Наталья Александровна Иванова,





работавшая в театре костюмершей. Тата стала настоящим ангелом-хранителем Павлы Леонтьевны и Ирины, взяв на себя абсолютно большую часть хлопот по домашнему хозяйству. Сколько раз я мечтала встретить такую же Тату, которая взяла бы на себя организацию моего быта!

Но у меня такого везения не было, судьба решила, что достаточно встречи с самой Павлой Леонтьевной и Татой в качестве образца домашней волшебницы.

Четыре женщины разного возраста и военная разлука — не самое веселое сочетание для выживания. Бедная Ирина то и дело болела, именно потому Павла Леонтьевна согласилась перебраться из Ростова-на-Дону в Симферополь. Да и кто бы рискнул в ту пору добираться в Москву?

Хотя в Крыму было не лучше.

С утра не знали, чья власть будет к вечеру. Из Крыма разбежались все крестьяне, какие только могли, рынки опустели, есть было просто нечего. Деньги «не работали», тем, у кого была хоть какая-то еда, брать их бессмысленно, потому продукты меняли на вещи, а чаще вообще не вывозили на рынок.

Если бы не Максимилиан Волошин, которого мы с Павлой Леонтьевной вспоминали добрым словом всякий день, нам бы не выжить. Волошин приносил мелкую рыбешку и бутылку касторового масла, чтобы ее пожарить. Я ненавижу дела касторку еще с детских лет, а запах горелого касторового масла вызывал и вовсе спазмы желудка. Как ни было голодно, есть рыбешек, поджаренных на касторке, не могла. Волошин страшно расстраивался и уходил искать что-нибудь еще.

Если бы не он...

Голод, тиф, трупы на улицах, головокружения из-за недоедания, страх... и счастье выходить на сцену.

Я не хотела писать об этом, совсем не хотела, потому и не вышла первая попытка создать воспоминания, по-

